



ЕВГЕНИЙ
БОВКУН

ТРИ ГЕРМАНИИ

(воспоминания переводчика и журналиста)

ЕВГЕНИЙ БОВКУН

Три Германии

«Эдитус»

2020

Бовкун Е. В.

Три Германии / Е. В. Бовкун — «Эдитус», 2020

ISBN 978-5-00149-296-2

Мир постоянно меняется. Изменения радуют или пугают нас, но, пытаясь их осмыслить, актёры спектакля «Жизнь-игра», переживают те же превращения, что и окружающие живые декорации. Потому что приспособливаться к метаморфозам бесполезно, а плыть по течению опасно. Но даже в неустойчивости общественных порядков при длительных, а временами длящихся при жизни нескольких поколений реформах, даже в периоды утраты идеалов, можно попытаться найти свою точку опоры. Для одних – это внутренняя эмиграция, для других – общественно полезный труд, интерес к познанию нераскрытых тайн истории или природы, поездки и путешествия, изучение архивов или повседневные наблюдения за поведением людей. Такой точкой опоры стала для меня профессия журналиста-международника, пробудившая интерес к пересечению судеб людских в Германии и России, хотя степень и качество интереса тоже менялись.

ISBN 978-5-00149-296-2

© Бовкун Е. В., 2020

© Эдитус, 2020

Содержание

Предисловие	6
Приближение	8
Первая Германия	11
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Евгений Бовкун

Три Германии (Воспоминания переводчика и журналиста)



Евгений Бовкун

Предисловие

Мир постоянно меняется. Изменения радуют или пугают нас, но, пытаясь их осмыслить, актёры спектакля «Жизнь-игра», переживают те же превращения, что и окружающие живые декорации. Потому что приспособливаться к метаморфозам бесполезно, а плыть по течению опасно. Но даже в неустойчивости общественных порядков при длительных, а временами длящихся при жизни нескольких поколений реформах, даже в периоды утраты идеалов, можно попытаться найти свою точку опоры. Для одних – это внутренняя эмиграция, для других – общественно полезный труд, интерес к познанию нераскрытых тайн истории или природы, поездки и путешествия, изучение архивов или повседневные наблюдения за поведением людей. Такой точкой опоры стала для меня профессия журналиста-международника, пробудившая интерес к пересечению судеб людских в Германии и России, хотя степень и качество интереса тоже менялись.

Записки мои с редкими иллюстрациями в виде отрывков из полученных писем – субъективное отражение творческих поисков переводчика-германиста на зыбком поприще международной журналистики. В моей жизни было *три Германии*. Первая – далёкая страна поэзии, философии и музыки, почти виртуальная, существовавшая в воображении моего отрочества и юности, но имевшая страшного реального двойника. Вторая – вполне земная, быстро промелькнувшая, словно увиденная из окна вагона вследствие быстротечных транзитов и случайных контактов. Третья – предельно реальная, у которой словно окропленная живой водой на глазах срасталась с нею и оживала часть её туловища. И эту третью, прошедшую через многие испытания Германию, не пощадило время. Переломные события неделикатно повлияли на представления немцев о самих себе и ввергли их в испытание *единством*. В стране стали происходить изменения, трудно совместимые с идеалами, которые я рисовал когда-то в своём воображении.

С началом перестройки весной 85-го я уехал в Германию собственным корреспондентом «Известий», а вернулся в Москву 20 лет спустя, в октябре 2005 года свободным журналистом, пережив за рубежом распад СССР, крах перестройки, провал антиалкогольной кампании, необычные мутации друзей по лагерю, мирное германское объединение, начало колонизации Европы бывшим «третьим миром» и многое другое. Если считать прежние короткие поездки в ФРГ и Западный Берлин, учёбу в Институте иностранных языков и годы работы в московских редакциях (журнала «За рубежом», Агентства Печати Новости и «Известий»), то более 40 лет своей сознательной жизни в наиболее продуктивном возрасте я увлечённо изучал эту страну, её историю, язык, обычаи, нравы политической, экономической и культурной жизни и региональные языковые особенности. С неожиданных сторон открывалась мне «Алемания». Были встречи с интересными людьми. Записная книжка заполнилась бесчисленными адресами и телефонами граждан с разными политическими и художественными пристрастиями, темпераментами и характерами. Пожалуй, не осталось интересного уголка, куда не приводили бы меня журналистские обязанности и любознательность германиста. И значительную часть интереса к этой замечательной стране я уделял проблемам, которые связаны были с формированием у русских и немцев представлений друг о друге, включая «образы врага». Я написал немало очерков, репортажей и статей для российских и зарубежных газет и журналов, сотрудничал с русскоязычными изданиями Германии, работал стрингером на «Немецкой волне» и «Радио Свобода», путешествовал по немецким городам и весям и другим странам, но вспоминаются, конечно, отдельные эпизоды и встречи. И не всегда – в хронологической последовательности. На протяжении столетий русские и немцы были носителями ошибочных или искажённых представлений друг о друге и о себе. На примерах русских и немцев я постигал условия, в которых наши народы создавали национальные и мировые духовные ценности, передавая из

поколения в поколение объективную потребность бережно хранить зёрна истины. Во многом мы еще продолжаем обманывать себя, держась за догмы и версии, кому-то выгодные. Левые и правые, коммунизм и фашизм, национализм и интернационализм, Сталин и Гитлер, Холокост и геноцид, изгнание и миграция, религиозный фундаментализм и террор, свобода и равенство, созидательная анархия рынка и мёртвый прядок плановой экономики, интеграция и сепаратизм... Аналогии и контрасты субъективны. Но истина познаётся в сравнениях.

Примечание: в официальных письмах и других документах моего личного архива обращения и заключительные слова заменены многоточием (...).

Приближение

Аборигены и чужестранцы. Бывает, услышишь в детстве рождённое обмолвкой смешное слово и будешь помнить его до старости. В пионерском детстве мое воображение поразило обращение «тавчикосы», напоминавшее о приключениях племени индейцев, но я никак не мог понять, какая может быть связь между воинственными тавчикосами и симпатичной девчонкой в исполнявшейся по радио песне Н. Рыленкова. Для меня это звучало так: «Ходит по полю девчонка. Тавчикосы, я влюблён!» На самом деле индейцы были ни при чём. Поэт из-за авторской глухоты (ею эпизодически страдали даже такие мастера слова, как Пушкин и Лермонтов), создал косноязычное словосочетание, которое невозможно было внятно спеть: «та, в чьи косы». Я не раз вспоминал несчастных тавчикосов, читая книги об отношениях туземцев и иноземцев. Суть возникавших между ними конфликтов всегда состояла в том, что они неадекватно воспринимали (видели) одну и ту же страну. У аборигенов и чужестранцев разные точки зрения.

Дальним соседям большое видится на расстоянии. Но порой и прозорливые граждане иного государства отказываются понимать, что происходит в соседнем и даже в их собственном доме. Из-за бурных общественных преобразований в Германии и России немцы и русские неоднократно теряли с таким трудом обретенное доверие к соседям, да и к самим себе. Набеги татар и предательство князей, интриги царедворцев и временщиков, ссылки и тюрьмы, гонения и доносы, войны, революции и капризы вождей побуждали Гоголя, Пушкина, Короленко и Бунина сожалеть: «Боже, как грустна наша Россия!» Гейне в отчаянии не узнавал современную ему Германию, которой никак не удавалось совместить понятия «нация, народ и государство» потому, что подданные её долго не размещались в одном отечестве; носители её культуры жили в Веймаре и Вене, Берлине и Базеле, Франкфурте и Праге. «Германия? Но где её искать? Я не могу найти страну такую!» – с горечью признавался впечатлительный романтик Шиллер. Гёте был уверен, что в немцах живёт мораль двусмысленности, стремление к размежеванию. На протяжении веков Германию по-разному воспринимали сами немцы и чужестранцы. Соседи решали германский вопрос в соответствии с тем, через какие очки наблюдали они за действиями немцев. Отношение к ним играло всеми оттенками чувств: от восхищения до ненависти. Жермена де Сталь находила их равнодушными к свободе. Британский историк Томас Чарли в 1870 году писал в «Таймс» о благородной, терпеливой, благочестивой и основательной Германии. Проезжавший по немецким городам и весям Салтыков-Щедрин с присущим ему неповторимым сарказмом и склонностью к парадоксальным сравнениям иронически замечал: «здесь все башни таковы, что в каждой кто-нибудь кого-нибудь убил или замучил». И он же по-детски удивлялся: «Природа, которая открывалась перед нами, мало чем отличалась от только что оставленной мною». Американский адвокат Луис Ницер был убеждён, что немцы в состоянии сделать из войны религию, а из массовых убийств – культ. С тех пор, как в 919 году Генрих I стал кайзером первого германского рейха, страна дала миру выдающихся мыслителей. Но та же земля стала ареной двух мировых войн. Тёмные силы, питаемые эликсирами средневекового мракобесия, пробуждались, чтобы пробудить Европу: католики резали протестантов, феодалы колесовали восставших крестьян, общество изгоняло поэтов, короли казнили мятежников, инквизиция охотилась за ведьмами. Тевтонский меч поднимался на землю Русскую. Города и княжества шли друг на друга. Жгли леса, разрушали замки, грабили ризницы. Ярче, чем сказал в своём замечательном сонете средневековый поэт Андреас Грифиус, подводя итог 30-летней войне, не скажешь: «ограблена душа, украден дух народа». Генриху III, который властвовал над Римом и папством от датской границы до юга Италии, в XI веке, удалось объединить сразу три королевства – Германию, Италию и Бургундию, но, начиная с позднего Средневековья, раскол и междоусобицы определяли ход германской истории. Столетиями искала Германия формулу един-

ства, не будучи в состоянии осознать свою собственную идентичность. Бисмарк, став прусским посланником при бундестаге во Франкфурте, писал жене: «Каждый из нас делает вид, будто знает о другом, что тот полон мыслей и проектов и только ждёт повода, чтобы об этом рассказать. Но мы всё же не знаем, что будет с Германией». Некоторые историки объясняли крах Второго рейха как раз *объединительной* политикой самого Бисмарка, одержимого паническим страхом перед экспортом революции из соседней Франции и потому с реформами не торопившегося. После покушения на Вильгельма II в июне 1878 года великий реформатор принял карательные меры: распустил Рейхстаг и ввёл патрулирование на улицах. Наведение порядка твёрдой рукой создавало общественные проблемы и в России – опричнина, Гулаг, запреты на инакомыслие, дурдома для диссидентов и ... неторопливые реформы.

Среди великих европейцев, сумевших высоко подняться над шаблонами мышления своего времени, одним из наиболее проникательных был «сторонний наблюдатель» – Генрих Гейне. Работая в Париже корреспондентом «Аугсбургер Альгемайне», для которой писал потом и Фёдор Тютчев, он сумел из эмигрантского далека разглядеть нехоженые подступы к объединению Европы и предвосхитил споры о преодолении европейского раскола. «Немцы работают над своей национальностью, только приступили они к этому слишком поздно. Когда они её создадут, идея национального суверенитета прекратит своё существование во всём мире, и они вынуждены будут вновь отказаться от собственной национальности», – писал поэт и журналист. Не происходит ли это уже с Германией, национальность которой в прогрессирующей степени «разжижается» мигрантами из Азии и Африки?

Властители и политики осуществляли свои представления о государственном устройстве, взору просветителей и поэтов представляли иные картины. Германии признавались в высоких чувствах наши выдающиеся соотечественники. Своя Германия была у Марины Цветаевой. Книги Гауфа, Гёте, Гейне и Гёльдерлина она называла в числе самых любимых. С началом Первой мировой, в разгар ура-патриотических настроений в России она демонстративно прославляла свою Германию – страну Канта, Гёте и Лорелеи. Первым посвящением в поэме «Крысолов», написанной в Чехии, были строки – «Моей Германии». Своей Германии, той романтической стране, которую она воспевала в юности, находясь под впечатлением увиденного за несколько месяцев, проведенных в 1914 году под Фрайбургом, посвящала Цветаева и другие зрелые стихи. «Сегодня хожу по твоей земле, Германия, и моя любовь к тебе расцветает романнее и романнее», – записывал другой мой любимый поэт, Владимир Маяковский. «Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам его разрешить, без немцев и без труда», – говорил в «Бесах» Достоевский устами российского либерала-западника. Признательность пробуждала ответные чувства. Рильке, которого глубоко поразили творческая мощь и глубокая религиозность русских, вернувшись в Германию из России, перевёл на немецкий чеховскую «Чайку». Без ярких немецких реалий оскудели бы многие сочинения наших классиков. Глубоко волновала российских интеллектуалов и тема германского единства. Трактат, посвящённый возможностям объединения Германии, опубликовал в немецкой печати в 1844 году наш великий поэт и дипломат Фёдор Тютчев, много лет прослуживший посланником российского императора при баварском дворе. Он воспитывался на лучших образцах немецкой поэзии, переводил на русский Шиллера, Гейне, Ленау и Айхендорфа и был блестящим знатоком европейской культуры, но Германия, пожалуй, даже в большей степени интересовала его как историка и политика. Он первым обосновал для российской монархии необходимость мирного объединения немцев, полагая, что это поможет России осуществить историческую миссию единения славянских народов; славянских, а не арабских, интересы которых заботили советских интернационалистов. При этом панславизм Тютчева не имел агрессивной составляющей. Единомышленники Тютчева из числа панславистов не разделяли его увлечений западной и, в частности, немецкой культурой. Но именно консервативно настроенному поэту довелось стать зачинателем одного из важнейших направлений отечественной дипломатии. Как свидетельствовала впоследствии в

мемуарах дочь поэта Анна Тютчева, император видел в российском самодержавии «единственный принцип порядка и прочности, еще не поколебленный революционными идеями Европы». Однако, сожалела она, государи и народы Европы предали Россию. Одни потому, что были унижены покровительством, другие потому, что видели в России врага прогресса. Прогрели две войны, развалилась советская империя, и рукотворное чудо на Западе свершилось – Германия объединилась бескровно. Но не разорвут ли её вновь противоречия интеграции?

Германия... Какая же она на самом деле? Зарубежные мыслители изучали её с глубочайшей древности. Чтобы лучше понять чужую страну, нужно попытаться взглянуть на неё глазами тех, для кого она – родина. Корнелий Тацит осуществил это намерение, создав капитальный труд о жизни немцев. Но это был его взгляд. Это была его Германия «с неприятной землёй и суровым небом, безрадостная для обитания и для взора, кроме тех, для кого она родина». Иначе видел Германию граф Мирабо, патриот Великой Французской революции, а затем тайный агент королевского дома, открывший в германцах дух независимости. Его соотечественница Жермена де Сталь находила немцев равнодушными к свободе. Бесконечны свидетельства, субъективны оценки... Я тоже полюбил свою Германию, приняв близко к сердцу её поэзию и культуру. Там учились и выросли мои дети. Там я провёл на корреспондентской работе почти четверть века, разделяя радость новых открытий с друзьями и близкими, и тропа их не зарастала к дому на Вулканштрассе в Бонне, даже когда он перестал быть корпунктом «Известий». Но родина сердца там, куда стремится душа и в минуты наивысшего благополучия в другой стране, где завершается твой жизненный путь, куда возвращаешься после долгих странствий к тому самому «дыму отечества», который не ест глаза, даже если власть имущие не вовремя топят печку. Для меня – это Россия.

Первая Германия

Разбойник Лейхтвейс. Пленные немцы и «образ врага». «Моя» Германия началась в Москве на Большой Ордынке, в доме 49, кв. 2. Прошедший Сталинград отец, окончивший до войны Политехникум связи, получил эту квартиру, когда был назначен начальником первой московской АТС, затем кончил Академию им. Подбельского и работал в ГРУ. Войну кончил гвардии инженером-подполковником, начальником связи 3-го Украинского фронта с орденами за бесстрашие и личную храбрость, а после войны работал в Москве, в Штабе войск связи. Он ценил приключенческую литературу (Буссенара, Жаколио, Эмара и Хаггарда), мама – поэзию и классику, и в доме всегда было много книг. Нередко нам перепадали книги из домашней библиотеки старшего папиного брата дяди Вити, инженера-гидролога, после войны направленного работать в Берлин, но репрессированного по доносу в 49-м. Тётя Лина (Ангелина Ивановна), находясь у него в подчинении, печатала документы. Работы было много, она засиживалась допоздна и некоторые бумаги, не имевшие грифа секретности, допечатывала дома, но ночам, в том же здании, на территории военной части. Сослуживцы донесли в НКВД. Дядя Витя взял вину на себя и оказался в Гулаге. До 53-го с другими зеками строил Куйбышевскую ГЭС, после смерти Сталина был реабилитирован. Из заключения вышел замкнутым, избегал шумных сборищ. Высокий, похожий на Блока, а на самом деле – на отца (дедушку Георгия), он почти ни с кем не общался, за исключением близких. Но, бывая на Ордынке, всегда дарил мне какую-нибудь книгу. А отец как-то принёс домой разлохмаченный фолиант, без начала и конца, разобранный по листочкам, и вручил его мне, шутливо заметив: «Вот какие приключения бывают, в том числе с этой книгой». Начиналась она с 17-й страницы, на которой мелкими буквами внизу указывалось название. Это был дореволюционный перевод авантюрного романа В. Рёдера «Пещера Лейхтвейса или Тринадцать лет любви и верности под землёй». Книга настолько меня увлекла, что я читал её на уроках, а в целях конспирации поместил в красную обложку «Вопросов ленинизма», для чего «обезглавил» упомянутое политическое творение. Улики преступления уничтожил на месте, мелко изорвав начинку и спустив в унитаз. Родителям признался в «шалости» много лет спустя. История благородного разбойника с берегов Рейна пробуждала воображение описанием романтических отношений Лейхтвейса и его возлюбленной на фоне сказочных красот Среднего Рейна, и я заочно влюбился в них, не дерзая предположить, что когда-нибудь проведу на берегах этой великой реки два десятка лет на корреспондентской работе. А летом того же года я поехал в пионерский лагерь министерства обороны в Марьино, где, познавая азы мальчишеской дружбы и любознательности, познакомился с настоящим немцем. Его звали Фрицем. Мы с приятелем Витькой «подкармливали» пленных немцев, восстанавливавших по соседству историческую усадьбу, и называли каменщика, избранного нами объектом гуманитарной помощи, Фрицем, хотя, возможно, звали его иначе. Мои сверстники всех немцев звали фрицами. Во всяком случае, наш Фриц улыбался, когда я обращался к нему по имени – Фридрих. В благодарность за хлеб и масло, тайком принесённые из столовой, он играл нам на губной гармошке и пел грустные народные песни. С тех пор я заочно полюбил не только немецкую природу, но и немецкий фольклор. А спустя почти полвека мне довелось, при поддержке главного редактора «Известий» и региональных соборов нашей газеты, посылить содействовать отправке гуманитарной помощи немцев гражданам реформирующейся России.

Бомба в прихожей. Школа и воспитание примерами. Плагиат и подражание. Вернувшись из эвакуации на Ордынку осенью 43-го, мы две недели входили в квартиру с опаской, хотя временно нам вообще запретили в ней жить: в деревянном тамбуре, куда выходили внешние двери, лежал неразорвавшийся фугас, и сапёры никак не могли его забрать, чтобы обезвредить. Они долго не приезжали, мы научились перешагивать через бомбу, а потом папа

увёз нас на Большую Дмитровку, в коммунальную квартиру к маминой сестре, тётке Нине. Огромная кухня, длинный коридор, восемь дверей, восемь комнат и восемь разнокалиберных семей. Жили в тесноте, но не в обиде. Соседка Мария Александровна (в исполнении младшего брата Юрка – Марисана) всегда подкармливала его чем-то вкусеньким, а когда готовила фаршированную щуку, приносила мне кусман на фарфоровой тарелке от Кузнецова. Королевское блюдо. Особенно, если его удавалось запить «вэрисом», от которого отказывался Юрка. Это была, белёсая жидкость, как сказали бы теперь, «со вкусом» сладкого молока и риса, которую давали в детской консультации по талончикам для малышей. А на Ордынке всё шло своим чередом. Пока бомба лежала в тамбуре, квартира была в безопасности: жулики боялись через неё перешагивать. Но как только путь был расчищен, нас обокрали. Ордынская шпана своё дело знала. Унесли самое ценное – столовые приборы и фарфор. Мама решила продать трофейный «телефункен» с зелёным глазком, ловивший передачи западных радиостанций. Но кому? Выручила подруга маминой сестры тётя Соня, лично знакомая с Сигизмундом Кацем. Он пришёл к нам в гости, мама угостила его пирогом и чаем, композитор шутил, рассказывал занятные истории, потом стал изучать приёмник. Мама удивлённо спросила: «Сигизмунд Абрамович, Вы слушаете западные радиостанции?» Гость рассмеялся: «Лизочка, я слушаю западную музыку! Услышишь интересное начало или оригинальный конец музыкальной фразы, и включаются нужные реминисценции». Позже я вспоминал этот короткий диалог, когда приходилось сталкиваться со странными совпадениями музыкальных фраз или сюжетов в творениях отечественных и зарубежных композиторов и режиссёров. Плагиат или ремейк? Подражание или всплеск собственного вдохновения? Грань нередко становилась зыбкой или вообще ускользала. Вспоминаю драматичную полемику, поводом которой стало схожее звучание мелодии у Френсиса Лея и Микаэла Таривердиева. Родственные ассоциации вызывали вступительные музыкальные пассажи к мультфильму про Карлсона и аккорды кёльнской музыкальной группы «Блэк Фёсс». А в 80-е годы по немецкому телевидению показали старую комедию, напомнившую мне сюжетом «Весёлых ребят». Сцены игры пастуха на флейте и пьяной оргии домашних животных на праздничном столе были абсолютно идентичными. Немецкий источник плагиата исключался, поскольку речь шла о послевоенной ленте. Но ведь и местные кинематографисты ездили в Голливуд, где режиссёр Александров «подсматривал» для советского зрителя сюжеты и трюки. Плагиат, ассоциативное подражание или безобидный ремейк – решать специалистам. Лично меня удручали и удручают не столько активность и успех ремесленников в искусстве и литературе, сколько нетребовательность «пользователей». Особенно много небрежностей и халтуры в современном художественном переводе, включая литературу для детей. Положительные герои детских книжек и мультиков заговорили на языке дворовой шпаны. Кич в современной литературе копируется, как некогда гипсовые бюстики вождей.

Первые друзья. Они появились на Ордынке. Двор. Школа. Во дворе сверстников немного: Юрка Уткин, Валерка Шкатов, Борька Никитин и Витька Чижиков. Остальные – много старше или младше. Смешливый Борька казался мне легкомысленным, Витька – зазнайкой. С «Утиком» мы гуляли по переулкам, обсуждая прочитанное, обменивались на день библиотечными книгами, бегали в Филиал Малого театра и пересмотрели там все спектакли. Правда, только со второго действия, на которое после антракта пускали без билета. Валерка постоянно задибался. Драки на Ордынке чаще случались без повода, от нечего делать: двор на двор или индивидуально. «Пойдём стыкнёмся!» Физически он был не сильнее меня, но «стыкаться» мне было не интересно, и драк не получалось. Всё изменилось после того, как в ноябре 51-го родители отправили меня на полтора месяца в Боярку – зимнюю школу под Киевом. В купе мы ехали вчетвером: трое Женек (Клюев, Иванцов и я) и Борька Кормышев – Колбаса, прозванный так за то, что под Малым Ярославцем выбросил из окна батон «любительской». Мы оказались самыми старшими, всеми хороводили. В довершение всего каждый влюбился. В силу одних этих обстоятельств произошло самоутверждение. Во дворе я немедленно подрался

со Шкатовым, после чего мы стали друзьями. Но вскоре случилась трагедия. Возвращаясь с ребятами из Парка Горького, мы с Валеркой решили подъехать остановку на трамвае, который, миновав Крымский мост, немного притормаживал. Вышли на середину улицы, чтобы вспрыгнуть на ходу. Мы оба делали это не раз и хорошо знали: прыгать нужно на заднюю площадку последнего вагона. Но Валерка поторопился вскочить в первый вагон. Плащ защемило гармошкой, а его затянуло под колёса и отрезало обе ноги. Он дико закричал, ругаясь матом. Страшная картина долго стояла у меня перед глазами. Ему сделали протезы, мы вместе ходили в школу и дружили до тех пор, пока он не переехал в другой город. В классе «А» 557-й мужской школы оказалось всего двое ребят из соседних дворов – Белёв и Баранов, остальные – с Полянки и Житной. С Мишкой Барановым я подружился раньше, часто бывал у него дома, но он погиб два года спустя, катаясь на велосипеде в Казачьем переулке, где в незапамятные времена селились выходцы с Украины. После этого родители категорически отказались покупать мне велосипед, на который я копил, откладывая родительские «чаевые». Потратить их пришлось на первый фотоаппарат – зеркалку «Любитель». С Вовкой Белёвым познакомился в первом же классе и через 8 лет вместе с ним переведён был в женскую 556-ю в порядке слияния. В день окончания 7-го класса, 15 июня 1953 года учительница вручила мне подарочную книгу «Портрет» Н. Гоголя с надписью: «Юному поэту, дорогому Евгению Бовкуну от классной руководительницы Софьи Каримовны Ишмаевой». Когда я принёс её домой, мама восприняла это как должное, а папа, улыбувшись, с особой теплотой сказал: «Наш поэт». Я знал, что они гордятся мною незаслуженно, и по-настоящему понял их состояние только после того, как сам стал гордиться своими детьми и внуками. Это ни с чем не сравнимое ощущение счастья с годами приобретает дополнительные оттенки. Если в свои ранние годы дети радовали меня разнообразием способов познания окружающего мира, повышенной чуткостью в отношениях к людям и животным, вызывая мои восторженные оценки, то теперь мне нравится любоваться ими молча, слушать и наблюдать, как они трудятся, воспитывают своих детей, о чём-то рассказывают или беседуют с друзьями. Но основным источником вдохновения теперь – мои внуки: Гриша и Федя (ГриФеды) и Павлушка, для которых я написал две книги стихов и рассказов – «День ГриФедов» и «Пашкин Дом».

До 2-го Спасоналивковского переулка, то есть до школы, из дому ходу было минут 20, мимо булочной в Погорельском переулке, которую, кажется, прославили съёмки фильма «Место встречи изменить нельзя». Запомнилась она потому, что за хлебом я чаще бегал именно туда. Однажды, желая доказать ребятам, что могу преобразиться до неузнаваемости, нарядился в мамино платье, нацепил туфли на каблуках и в таком виде явился в магазин. Продавщица, хорошо меня знавшая, заулыбалась, но я приложил палец к губам, поскольку за мной «сидели», и она сделала вид, что не узнала. Спор я выиграл. Споры у нас, тоже были в моде. «А спорим... Слабо?..» Я такие соревнования не любил, принимая в них участие эпизодически, чтобы не оторваться от коллектива. Но процедура перевоплощения меня привлекла возможностью «театра». Пьесы я обожал, Островского читал взахлёб, и, когда при школе создали кружок, немедленно туда записался. На школьной сцене мы поставили несколько эпизодов из пьесы «Баня», где я играл главначупса Победоносикова, усиленно подражая Игорю Ильинскому. И, видимо, настолько успешно, что дирекция решила показать самодеятельный спектакль в клубе наших шефов – кондитерской фабрики «Марат». С тех пор сатирический образ Маяковского «*эта великая Медведица пера*» вспоминается мне всякий раз, когда я слышу напыщенные выступления скороспелых ораторов.

Юность принесла более крепкую и длительную дружбу. В 9-м «А», после перехода в бывшую женскую школу, будущих друзей оказалось шестеро: Лёва Черных, Валя Семёнов, Юра Тихонов, Вова Белёв, Стасик Губанов и Эдик Шилов. Серые кители и гимнастёрки с чернильным отливом утонули в море коричневых платьев с белой кружевной отделкой. В этом малинике мы чувствовали себя как на экзамене, постоянный контроль изучающих глаз не позволял

расслабиться. Не только наши достоинства, но и слабости оказались на виду. Многие ученицы мне нравились, хотя девушки моей мечты среди них, к счастью, не было. Взаимные симпатии с лёгким оттенком школьного флирта способствовали тому, что в классе установилась дружеская атмосфера. Все мы немножко выпендривались перед девчонками. Написав стихи «Монолог скелета из ботанического кабинета», я перед уроком в знак тесной дружбы с этим экспонатом набросил ему на плечи куртку и застыл с ним в обнимку, дожидаясь учительницы, чем напугал и возмутил её сверх всякой меры. В другой раз мы с Борькой Никитиным устроили набег на раздевалку и отвинтили с вешалки десятка полтора крючков. По виду они напоминали дюралевые, но содержали магний и горели как бенгальские огни. Наверное, их выпускало оборонное предприятие. Нужно было только хорошенько разжечь крючки. Одноклассникам, очевидно, тоже хотелось привлечь к себе внимание смелой выходкой и как-то они вовлекли нас в нехорошую проделку, смысл которой до нас не сразу дошёл: намазали чесноком доску перед уроком классной руководительницы Веры Ароновны Мерецкой. До сих пор ощущаю чувство вины за невольное участие в этом недостойном спектакле. Зачинщиков никто не искал. Мы загладили постыдный акт добрыми поступками, навещали нашу учительницу дома после окончания школы и подарили ей альбом с фотографиями, к которому я написал наивные лирические стихи, тронувшие её до слёз. Малочисленность мужской команды не помешала нашему классу стать самым проблемным, но и самым сплочённым. Мы отмечали дни рождения, ездили с ночёвками в палатках на Сенеж, всем классом хоронили любимого физика Юрия Фёдоровича. У каждого появились новые дружеские и родственные связи, но тем и ценны школьные привязанности, что остаются неповторимыми и служат психологической основой новых союзов. Человек, ни с кем не друживший в школе, редко обретает новых друзей потому, что не научился ценить чужие достоинства. По естественным причинам уменьшившимся коллективом продолжали встречаться: у Льва Черныха, нашей старосты Аллы Варущенко, а в последний раз у меня, на улице Удальцова в 50-ю годовщину со дня окончания школы.

Антимиры во сне и наяву. Кому из нас не снились таинственные, жутковатые, давящие тяжестью непонятных видений, пугающие сюрреалистичностью происходящего сны! Достоинные доверия «очевидцы» рассказали нам об этом повестями Гоголя и Кафки, картинами Босха и Мунка, сочинениями Орвелла и Булгакова. Народное творчество запечатлело ночные кошмары в образах вампиров и вурдалаков, вервольфов и летцельбетцелей... В юности, задолго до появления киноэпопеи о звёздных войнах, мне снился один и тот же «страшный» сон: днём на улице неожиданно темнеет, и на город во всё небо угрожающе надвигается из-за горизонта круглое днище космического корабля с мерцающими по краям огоньками. Меня охватывает ужас, я зажмуриваюсь, тороплюсь проснуться. А ещё снилось, что через тёмное окно на первом этаже за нами кто-то подглядывает. Образы военного детства.

Два социализма. В деревне Теньки на берегу Волги, куда нас с мамой вместе с другими семьями служащих Генштаба вывезли с началом войны, далеко не все местные жители были настроены к эвакуированным радушно, по маминым рассказам, ей говорили в лицо: «когда немцы придут, мы вас не выдадим, сами убьём!» Это не была острая неприязнь жителей села лично к нам, это была ненависть раскулаченного крестьянства к сталинизму, а точнее сказать – к тому пролетарскому, интернациональному социализму, который олицетворял собой наш «великий кормчий». Раскулаченных, как и тех же власовцев, больше устраивал национальный социализм немецкого фюрера. Не на жизнь, а на смерть враждовали две идеологические системы, два социализма, а доставалось простым русским и немцам. Паньы дерутся, а у холопов чубы трещат. В то время армия национального социализма наступала. С фронта возвращались в Россию раненные и калеки. В нашем дворе на Ордынке у многих мальчишек не вернулись с войны отцы и старшие братья. Бабушка рассказывала о своих братьях, не переживших войну. Родной брат Иван, в четвёртый раз женившийся в 80 лет на учительнице и усыновивший троих её детей, был расстрелян немцами в Краснодаре, когда ему исполнилось 103 года: за то, что

укрывал в подвале еврейскую семью. Кузен (тоже Иван) пропал в Киеве, и ему было больше ста. Да и сама она чудом избежала расправы. Немцы занесли её в списки подлежащих расстрелу, поскольку оба сына сражались в Красной Армии. К счастью очередь не дошла. Германию тогда у нас очень не любили. Но эта была другая Германия. Её я тоже не любил. Ненависть порождает ненависть. «Убей немца!» – призывал в листовках Илья Эренбург, работавший до войны во Франции корреспондентом «Известий». Станным образом он невольно перефразировал лозунг веймарских коммунистов «Бей фашистов!» Сталинский ярлык «фашизма» перенесли на весь немецкий народ. «Горе кормит ненависть. Ненависть кормит надежду», – писал Эренбург, считая, что ненависть «присуща только чистым и горячим сердцам», и оправдывая тем самым догадку Бердяева, заметившего в коммунистах «страшное преобладание ненависти над любовью». Но как осуждать крупного писателя за то, что он правдиво отразил настроения многих русских во время войны! Вспомним, как гуманист Леон Фейхтвангер в «Москве 37-го» оправдывал кровавые сталинские чистки. И все же такое отношение к немцам не было типичным для наших писателей. Об актах жестокой мести советских освободителей мирному населению Германии писал в мемуарах бывший политработник Лев Копелев, с которым впоследствии мне довелось общаться в Кёльне. Другой участник войны, писатель Сергей Наровчатов рассказывал мне (корреспонденту АПН): стараясь представить себе «обыкновенного немца», он всегда видел перед собой простые городские и деревенские лица, напоминавшие ему русских мужиков и баб, на которых наложила свой беспощадный отпечаток война. Аналогично высказывался о немцах автор «Василия Тёркина». А по моим детским послевоенным впечатлениям, редко кто позволял себе плюнуть в сторону пленных, колонну которых вели по улице. Их жалели, подкармливая незаметно от охраны. Как относятся в СССР к немцам широкие слои населения, долго никто не знал, поскольку опросов у нас не проводили. А потом советским людям подсказали выражение «западногерманские реваншисты и бывшие нацисты», хотя все втайне удивлялись: почему ни одного бывшего нациста не оказалось в ГДР. Результаты опросов всегда впечатляют, но характерно, что число симпатизирующих друг другу немцев, русских и американцев при всех перекрёстных вариантах всегда составляло относительно постоянную величину – около 40 процентов. Очевидно, воспоминания о войне и пропаганда против реваншизма или империализма на формирование положительных и отрицательных представлений друг о друге всё же влияли мало. На протяжении веков немцы и русские подвергались тяжелейшим испытаниям, но свои духовные богатства сохранили.

Мамочка. Деревня на Волге. Мамин отец – Пётр Алексеевич Дёмин, потомственный московский рабочий, жил с родителями в Казицком переулке в квартире, окна которой выходили во двор Елисеевского магазина. Когда настали трудные времена, подался на заработки в Тульскую область. В деревне Хатунка приглянулась ему местная красавица. Он женился на ней, и вскоре родилась у них дочка Лизочка – моя мама. А потом умерли старики Дёмины, и Пётр Алексеевич по настоянию жены, которой хотелось жить в столице, перебрался в Москву. Семья увеличивалась – Алексей, Нина. Прокормить её становилось всё труднее. Пётр Дёмин, по профессии слесарь, вынужден был подрабатывать – чистить канализационные трубы. Заработал ревматизм. Не такой представляла себе жизнь молодая уроженка Хатунки. Поехала повидать родителей и бесследно исчезла. Мама слышала от отца такую легенду. На тульском направлении произошла железнодорожная катастрофа: оторвавшаяся одним концом длинная ручка вагона принялась косить пассажиров, повисших на ручках встречного поезда. Погибло много людей, но тела пропавшей среди них не нашли. На самом деле, думаю, было иначе. Она ушла от мужа, зная, что детей он не бросит. Тяжело приходилось. Единственной помощницей была старшая дочь – «его Лизок». Она и обед приготовит, и всех накормит, и в квартире приберёт, и ноги разотрёт, когда разыграется ревматизм, почитает вслух Лермонтова, да про уроки не забудет. А училась мама в школе, которую посещали дети художников и артистов и потомки благородных господ – Нина Голицына и Нина Шереметьева, подарившая маме в 1934 году свою

фотографию «На память единственному дорогому другу – Лизику». Мама хорошо пела и танцевала, участвовала в самодеятельном ансамбле «Синеблуды», достаивалась похвал педагога по рисованию (школа была с художественным уклоном), но за год до окончания пришлось её бросить, пойти работать: папа стал часто хворать и вскоре умер. На плечи её легла забота – кормить и воспитывать сестру и брата (тётю Нину и дядю Лёшу). К тому времени, когда тётя Нина поступила в институт, выбрав специальность гидролога, а дядя Лёша начал работать, высшее образование стало для неё недостижимым. Утешением были книги, а поскольку дома условия для чтения оставляли желать лучшего, просиживала она с книжкой во дворе до темноты. Иногда с ней заговаривал пожилой господин из соседнего дома (сам Елисеев?) и, поражённый её начитанностью и культурной речью, стал дарить ей книги – дореволюционные издания классиков с иллюстрациями, защищёнными папиросной бумагой. Они хранились у нас до середины 60-х годов, затем постепенно исчезли. Мама охотно давала книги «почитать», но стеснялась попросить их вернуть. Благодаря чтению мама приобрела абсолютную грамотность. Окончив курсы машинисток, печатала вслепую с невероятной скоростью, без ошибок. Сначала в Главном картографическом управлении, подчинявшемся НКВД (ему же, как ни странно, подчинялись Загсы), затем в Генштабе, куда устроил её папа. Перед самой войной она работала в приёмной заместителя начальника Оперативного управления, комдива А. М. Василевского. А в 37-м, во время работы в картографическом управлении на Б. Полянке, стала свидетельницей странного случая. Засидевшись допоздна за машинкой, погасила свет, вышла в коридор, там было темно, и лишь под одной дверью – начальника отдела – светилась жёлтая полоска. Забыли погасить свет? Она решительно распахнула дверь. Хозяин кабинета стоял у стола и лихорадочно перебирал бумаги. Он обернулся на скрип открываемой двери, лицо его исказила гримаса ужаса, словно он увидел привидение. Мама тоже перепугалась, не помнила, как добралась домой. На следующий день узнала: начальника арестовали как врага народа. «Надо уходить оттуда», – сказал папа.

Личная жизнь матери. Папа появился в маминой жизни неожиданно. У неё было много поклонников, но он покорила её не столько внешностью, сколько необычностью и решительностью поступков. Вернувшись из командировки на Дальний Восток, сказал: «Завтра идём в ЗАГС». Довоенные фотографии запечатлели счастливых родителей на отдыхе и весёлые застолья с друзьями. Тревожный 38-й год стал для них самым счастливым. Я потом удивлялся: как они могли радоваться, если знали, что будет большая война? А они знали. «Репетиции» были достаточно зловещими. Осенью 39-го папа ушёл на «войну с белофиннами» и, вернувшись, рассказывал, как белофинны минировали колодцы и как подорвался на mine молодой политрук, решив подобрать для своей дочери валявшуюся на дороге красивую куклу. Затем опять командировки: тот же Дальний Восток, Западная Украина, Прибалтика... После одной из них он сказал маме: «Будет война. Предстоит эвакуация». Но эвакуировали нас только осенью 41-го – в татарское село Теньки. Папа регулярно отправлял посылки, доходили не все. В некоторых мы обнаруживали битое стекло и куски кирпичей, но всё же изредка нам доставались сахар или банки с вареньем из моркови, которую я с тех пор возненавидел. По рассказам мамы я как-то умудрился достать и съесть за один присест месячную норму сахара, хранившегося в кульке под потолком – от тараканов. Она долго трясла меня за плечи, приговаривая: «Что же ты наделал!» Так она наказывала меня за проделки. Мы жили в доме у чудесной одинокой женщины, а ещё мама подружилась с семьёй Глазковых, у которых были дети подростки – Тамара и Слава. Мы сохранили с ними добрые отношения и после войны. Слава и Тамара переехали работать в Москву, заходили к нам на Ордынку, а мы бывали в гостях у их дяди на Пятницкой. Помню, он подарил мне книжку в красной обложке про штурм Перекопа, где многие слова были замазаны чёрной тушью. Мне удалось прочесть их на свет настольной лампы. Это были фамилии репрессированных военачальников. В Теньках группа эвакуированных организовала театр, и мама играла в спектаклях. А потом случился её грех. Возвращаясь из Казани на паро-

ходе, она познакомилась с пассажиром, ставшим папой моего брата. Мама покаялась нам с Юркой лишь после развода, а после её смерти я случайно раскрыл чёрный эбонитовый футлярчик для хранения иголок. Я не выбросил его потому, что это была мамина вещь, практически единственная, не считая оставшихся книг. Там находилась скатанная в трубочку бумажка с биографическими данными красноармейца, направлявшегося в расположение своей части. Я не осудил бы отца, если бы он расстался с мамой сразу, узнав обо всём, но благодарен ему за то, что он сделал это спустя много лет, когда мы с Юркой стали взрослыми. И он никогда не сказал мне ни слова упрека за те три года после развода с мамой, когда я немного отдалился от него, поскольку считал, что обязан был в первую очередь поддержать более слабого, то есть мать. Не знаю, как я поступил бы на его месте. Послевоенные впечатления не оставляют у меня сомнений в том, что папино благородство не только имело под собой прочную моральную основу, но и продиктовано было любовью к маме, ко мне и Юрке. Очевидно, мама в силу обстоятельств не смогла этого оценить и перенесла всю любовь на детей. Но разве можно осуждать отца и мать за то, что в их отношениях разрушилась животворная связь, благодаря которой существуют семьи. Мама глубоко переживала разрыв, верила, что всё вернётся на круги своя. Она не приняла в расчёт семейную черту Бовкунов: решения мы долго вынашиваем в себе, но, будучи приняты, они становятся необратимыми. Я спрашивал брата: не хотел бы он разыскать настоящего отца. Он сказал: «Меня зовут Юрий Васильевич Бовкун, отец у меня есть и второй мне не нужен». Мама часто жаловалась на сердце, и мы отвезли её к платному кардиологу. Он рекомендовал поставить кардиостимулятор, назвав сумму, по тем временам значительную. А потом, пригласив меня в другой кабинет, спросил: «Вы действительно хотите, чтобы она ещё пожила?» и, увидев моё изумление, добавил: «А то, ведь, знаете, как бывает, не все так относятся к своим родителям». Я долго не мог оправиться от шока. Маме поставили импортный стимулятор. Но умерла она от инсульта у меня на руках. Чувство вины гложет меня до сих пор. Я упустил что-то важное, не успел для неё сделать всё, что хотел или мог. Не сохранил в памяти многое из того, что рассказывала она о себе, папе, родителях и друзьях.

Тётя Нина. Нина Петровна Дёмина. Моя единственная родная и горячо любимая тётя. Главным содержанием всей её жизни был труд. Трудилась она неистово и самозабвенно, была трудоголиком, но таким, который испытывает глубокое удовлетворение от сознания того, что приносит пользу людям, особенно тем, кого любит: старшей сестре, младшему брату и его семье, единственному сыну, племянникам и своему мужу – дяде Саше, ходившему с тросточкой. После войны у него в ноге остался осколок. Он был моложе тёти Нины, и она отпускала его в санатории и дома отдыха одного, не роптала, не жаловалась. Лелеяла внучку Катеньку, которая всю жизнь была для неё светлым огоньком, поддерживавшим тепло семейного очага. Мчалась через всю Москву на Рижскую, чтобы посидеть с маленькими Иваном или Таткой, когда их не на кого было оставить. Бывают люди, которые кажутся добрыми только потому, что не повышают голоса, мило улыбаются и кормят гостей пирожками, но для которых превыше всего собственное спокойствие и забота которых распространяется лишь на узкий круг избранных. Я знал людей с репутацией хороших семьянинов, для кого семья была неким видом любимой личной собственности, но всё, что оставалось за её пределами, они считали чужим. Тётя Нина была совсем другим человеком – крайне отзывчивым к проявлениям неустроенности и неблагополучия, независимо от того, кого и в какой степени они касались. Доброта её не была мягкотелой и безропотной, сочетаясь с пронизательностью и остротой суждений. Тётя Нина хорошо различала фальш, неискренность, но никогда не злословила. Её острые замечания не приобретали форму осуждения. Она не была верующей, не ходила в церковь, но жила по совести и справедливости. Эти духовные ценности не были для неё пустым звуком. Свеча её горела ярко, не чадила и оставила после себя тепло, передавшееся сыну. В последние годы она тяжело болела, он менял ей постельное бельё и переодевал, окружив любовью и заботой. Когда я в последний раз приехал к ней, ей уже трудно было говорить. Я сидел у её постели, Миша

что-то готовил на кухне, мы говорили о пустяках. Вдруг она замолчала и, глядя на меня грустными и счастливыми глазами, неожиданно чётко, с расстановкой произнесла: «А ты знаешь, что Миша очень хороший человек». Человек, скупой на похвалы и не любящий дифирамбов, может сказать такое, когда признаётся себе, что жил не зря. У меня защемило сердце, потому что я только в тот момент осознал, что никогда не видел, как она отдыхала. И отдыхала ли она вообще когда-нибудь?

Личная жизнь отца. Детские шалости и профессия. Когда бабушка рассказывала о детских шалостях папы, я невольно находил в них много общего с проделками литературного героя – Тома Сойера. Однажды она заметила в кладовке чайную ложечку и поняла, что младший сын тайком лакомится вареньем. «Нельзя брать варенье из разных банок одной ложкой», – выговаривала она проказнику, а неделю спустя обнаружила возле каждой банки по ложке. Папа неистощим был на выдумки, и сверстники, называвшие его Копчёным из-за смуглости, доверяли ему разработку операций, когда нужно было подшутить над вредным учителем или жадным торговцем. Однако изобретательность иногда подводила его. В 1914 году в Ялте он нанялся ночным сторожем к аптекарю, желая подработать на карманные расходы. Его обязанностью было не пропустить звонок позднего посетителя. А чтобы юный дежурный не уснул, аптекарь привязывал шнурок от звонка к его ноге. Но папа нашёл выход. Когда все засыпали, он отвязывался и прикреплял верёвку к ножке тяжёлого дивана. Аптекарь удивлялся, что его перестали тревожить по ночам и, решив проверить добросовестность сторожа, вышел среди ночи в коридор, споткнулся о протянутую верёвку и упал, набив шишку. Дежурного с позором прогнали, пожаловавшись родителям. В таких случаях отец наказывал сына ремнём, но на этот раз сын предупредил: «Если ударишь, выпрыгну в окно». И выпрыгнул, едва не сломав рёбра. Хорошо, что под окном росла туя, и он застрял в её мягких ветках. Острота ума, инициативность, чувство справедливости и независимость суждений стали отличительными чертами его характера. Когда в Ялту пришла гражданская война, папа стал свидетелем с страшной сцены. Вооружённые саблями казаки разгоняли митинг рабочих. Один из преследуемых пробежал по улице мимо забора, за которым прятались мальчишки. Папа видел: беглецу на скаку отрубили голову, но он пробежал по инерции ещё несколько метров. Через неделю папа ушёл из дома, чтобы вступить в Красную Армию. Постоянные перемещения не благоприятствовали созданию семьи. Он влюблялся и увлекался, не позволяя себе создать семью до тех пор, пока не сможет обеспечить её будущее. «Васенька никогда не прельстился бы ролью иждивенца», – говорила бабушка, да и мне трудно было бы представить себе отца альфонсом или женихом богатой невесты. Он не допустил бы, чтобы его облагодетельствовали незаслуженными дарами. Всю жизнь жил только тем, что хотел и умел заработать сам, и всегда находил себе занятие, передав и мне свой характер. На Ордынке он научил меня пользоваться инструментами и не бояться электрического тока, для чего на моих глазах дотрагивался до оголённых проводов напряжением в 127 вольт, взяв меня за руку. В закутке между нашим домом и Педучилищем им. Ушинского мы устроили небольшой палисадник, посадив калину, берёзу, липу и цветы. Липа растёт там до сих пор. По чертежам смастерили увеличитель для моего первого фотоаппарата – крупноформатной зеркалки «Любитель». Получился он невероятно громоздким, но работал безотказно. Папа мог починить любой бытовой прибор, любил возиться в огороде и в Корекозево развёл клубнику, о которой прежде в деревне никто не помышлял. Боевой офицер, прошедший через кошмары Сталинграда, нежно любил внуков, вырыл для них в саду мини-пруд, ходил с нами по грибы и великолепно их мариновал. Всё это были частички личной жизни, составлявшие внутренний мир этого человека. Ещё в армии папа выбрал себе специальность связиста, участвовал в засекреченных разработках нового вида связи – ВЧ. Это и предопределило его переход в ГРУ. И я до сих пор с глубочайшим уважением отношусь к профессионалам военной разведки – специалистам, защищающим безопасность Отечества, отделяя их от тех, чьи моральные принципы совместимы с доносительством и созданием образов

внутреннего врага. Накануне войны для проверки новой связи папу направили в «тыл врага» – на территорию Польши и фактически бросили на произвол судьбы. Обратный путь он пробирался лесами, минуя населённые пункты, пока не добрался до Москвы. Сказал маме: «Теперь ты знаешь всё сама, а я не имел права тебе об этом рассказывать». По словам мамы, он решил уйти из разведки, и неизвестно, что повлекло бы за собой такое решение, если бы не война. Выпускник той же Академии, с которым он встретился в июне 41-го, помог ему перевестись в действующую 62-ю армию, где требовались высококлассные связисты. На одном из снимков начала 50-х папа, только получивший звание полковника, мама, Юрка и я – четыре счастливых лица. Такие фото фиксируют отдельные моменты нашей личной жизни, но всю её невозможно запечатлеть документально. Да и нужно ли? Ордынка навсегда оставила в памяти почти лубочную картину домашнего очага. В дальнейшем мой Отчий дом многократно перемещался в пространстве, в зависимости от того, где длительное время находились моя семья и друзья. Он заполнялся родственниками, большинство которых до конца своей и моей жизни оставались верными и чуткими друзьями. И в нём было столь же много друзей, к которым жена и я испытывали родственные чувства. У него появлялись новые названия. Это пристанище существовало, и когда семья временно разлучалась. Незримый Очаг условного поселения согревал его обитателей, и нередко зажжённая от него лучина освещала жилища друзей в других городах и странах. Взаимная симпатия и уважение, бескорыстие и готовность помочь в беде, тяга к справедливости и вера в доброту, почитание родителей и любовь к детям и внукам составляли для нас своеобразный Кодекс Чести.

Бабушкин сундук. Домашняя библиотека на Ордынке постоянно пополнялась. История, философия, психология, религия, словари: Даль, Михельсон, Фасмер, Брокгауз... Интересные книги в советское время доставались разными способами. Уникальные экземпляры из спецхрана переснимались или перепечатывались вручную. Журнал «Огонёк» и газета «Правда» стали печатать массовыми тиражами в своих приложениях собрания сочинений отечественной и зарубежной классики. А когда начали понемногу издавать то, что прежде не печаталось, приходилось искать лазейки в подвалы книжных магазинов. Обширные связи в торговой сети имел мой школьный друг Валюшка Семёнов, работавший в Москниге. С его записочками я обходил магазины. По возможности книги покупались в нескольких экземплярах – для друзей и родственников. Так создавались тогда домашние библиотеки. Мама приобретала «дефицит» у спекулянтов на Кузнецком мосту, отец приносил почитать книги из служебной библиотеки, привозил из командировок. Книгой «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова в сером тканевом переплёте, купленной им на Арбате, он очень дорожил, как самой честной книгой о Сталинградской битве. Её запретили, изъяв из библиотек, но в нашей домашней она осталась, как и многие другие сочинения, по разным причинам неудобные советским властям. Символично, что некоторые книги, не имевшие библиотечного штампа, попадали ко мне из библиотек. В юности я регулярно посещал неплохую районную библиотеку на Большой Полянке, всегда вовремя возвращая взятые книги. С заведующей библиотекой мы нередко беседовали о литературе, она была в курсе моих предпочтений и однажды сказала: «Почитайте эту книгу. И можете её не возвращать. Она лежала в запасниках, штамп на неё поставить не успели, а теперь всю «не востребовавшую» литературу будут изымать». Я взглянул на обложку: А. Некрич – «22 июня 1941 года». За этот труд честного историка исключили из КПСС, вынудили эмигрировать, а книги изъяли из библиотек и уничтожили. Аналогичным путём попало ко мне ещё несколько книг. Много ценных для себя приобретений я сделал в годы студенчества во время одиночных поездок по старым городам. Из Ярославля привёз отдельные книги альманаха «Шиповник» и дореволюционное собрание сочинений Алексея Писемского с его знаменитым «Взбаламученным морем», где вернувшийся на родину после долгого пребывания за границей писатель размышлял о российских нравах. Впечатления классиков о дальнем и ближнем зарубежье привлекали описанием характеров, привычек и поступков самих путе-

шественников и тех, с кем приходилось им общаться на чужой земле. Бабушка, переехавшая из Ялты в Москву к дяде Вите, в коммунальную квартиру на улице Горького, в здании Центрального телеграфа, привезла целый сундук старых книг. С них, собственно, всё и началось. Когда я учился в третьем классе и заболел свинкой, меня отправили к бабушке, потому что мама сама заболела, папа уехал в командировку, а тётя Нина – в экспедицию. Бабушка лечила меня, развлекала рассказами о шалостях отца, а потом состоялось открытие сундука. В книгах всё заслуживало особого внимания: необычный формат и пахнущие стариной жёлтые страницы, шрифт с ятями и незнакомые слова, которые я выписывал в тетрадку. Религиозная литература, приложения к «Ниве», дореволюционные альманахи, издания начала века русских и зарубежных авторов (в том числе, переводы с немецкого), церковные календари, роскошная детская Библия и учебные пособия церковно-приходской школы, так сильно отличавшиеся от учебников советской школы. Насмотревшись на эти богатства, я начал задавать вопросы и слушал, как зачарованный. Когда бабушка рассказывала про свою учёбу, я впервые задумался: почему в СССР систему оценок успеваемости вывернули наизнанку. Почему отличникам ставили пятёрки? Во многих странах единица считалась высшим баллом в учёбе и спорте. Да и в царской России никаких пятёрок не было. Зато Коминтерн создавал террористические пятёрки для борьбы с гражданским и международным инакомыслием. Бабушка Поля проникновенно говорила на божественные темы, красиво и популярно рассказывала о жизни святых и мучеников, приводила примеры соблюдения и нарушения заповедей. Это были необычные и потому хорошо запомнившиеся уроки Закона Божия. Она пешком приходила на Ордынку с Улицы Горького; на нашей улице было пять церквей. В одной из них – Преображенской, возле нарсуда, работали реставраторы (одним из них, говорили мне, был Савелий Ямщиков), научившие меня, как надо очищать от копоти старые иконы. Делалось это мякишем чёрного хлеба. Позже, покупая и находя на чердаках «чёрные доски», я успешно пользовался этим способом. Обрывки бабушкиных рассуждений всплывали в памяти годы спустя, когда я созрел для чтения Соловьёва, Флоренского, Мережковского и Бердяева. Жена дяди Вити, тётя Лина работала в издательстве и подарила мне изданную до войны книгу писем Рубенса в переводах Анны Ахматовой, полученную от самой Ахматовой с её автографом. Книги из бабушкиного сундука вызвали неясное ощущение соприкосновения с таинственным и почти запретным. Когда бабушка умерла, хозяином книг бабушкинского сундука стал дядя Вита, и я не брал их без спроса. Но кое-что он давал мне почитать, в том числе – июльский номер журнала «Русский вестник» за 1880 год с отрывками из книги Д. Д. Благово «Рассказы бабушки». Когда они были опубликованы полностью в «Литературных памятниках», я проглотил книгу, но лишь перечитывая недавно, обратил внимание на одну фразу. Автор сожалел, что общество пренебрегает подробностями ежедневной жизни, отражающими нравы, обычаи и привычки предыдущих поколений. Мало что изменилось в нашей ментальности за последние 200 лет. Бабушка Поля (Полина Ивановна Долто). Образ её запечатлелся в двух измерениях: седенькая сухощавая старушка с добрыми глазами и тёплыми ладонями и юная красавица с длинной косой на дореволюционной фотографии. Затем наступила пора погружения в немецкую поэзию (разумеется, в переводах), образцами которой стала богата наша домашняя библиотека. Так появилась у меня «своя» Германия, а во время учёбы в 10-м классе я уже рискнул по-своему перевести гейневскую «Лорелею». И при том, как сказал мне много позже корифей художественного перевода Лев Гинзбург, «совсем даже неплохо». Это была первая проба пера, о профессии переводчика я не помышлял, мечтая поступить в Литературный институт. Но туда принимали только с рабочим стажем. В 57-м пошел работать. Электромонтажником, на закрытом предприятии в Останкино а/я 37. «Германия» отходила в туманное будущее. Литературные увлечения вырабатывали устойчивый иммунитет к соблазнам идеологической карьеры.

Будни «абонементного ящика». Приобретение специальности началось с рытья канав на территории института и продолжилось в монтажной мастерской, где меня сразу нагрузили

общественной работой: избрали комсоргом цеха и членом редколлегии многотиражки. После того, как я выпустил несколько номеров, отяготив газету собственными сатирическими стихами, парторг предприятия Евгения Александровна Комова дала мне деликатное поручение – сочинить оригинальные двустихия к беспроигрышной лотерее для праздничного вечера руководящего состава. Чтобы отбить у неё охоту обращаться ко мне впредь с такими просьбами, я стал упражняться в крамольных выражениях. Один стишок звучал так: «Ура, я счастлив – мне досталась клизма! Теперь я доживу до коммунизма!» Другие были не менее дерзкими. Но Комова пришла в восторг. В среде технической интеллигенции кукиш в кармане входил в моду. Быстро перезнакомившись со многими, я «вошёл» в коллектив и приобрёл новых товарищей, несколько не отдалившись при этом от старых. Рассудительный, наделённый здоровым чувством юмора Мишка Чижиков, которого на самом деле звали Вениамином. Импульсивный и простодушный Серёжка Тумасьян. Принципиальный Валерка Терентьев, с которым мы приобрели на двоих байдарку «Луч». Стройная черноволосая красавица Любаша Елистратова и трогательно ухаживавший за ней немногословный Феликс Третьяков. Заядлый походевик Толя Кулик... Два неполных года работы в «ящике»... Но сколько незабываемых впечатлений! Таёжные походы повышенной степени трудности. Стрелковый клуб, учредив который мы с Мишкой приобрели пневматические мелкашки. Беседы у костра, располагающие к откровенности. «Производственное» общение, эмоции на стадионе (который для болельщика ЦСКА стал частым объектом посещения, поскольку команда моя возглавляла турнирную таблицу), «умные» беседы в домашней обстановке... Всё это с различной интенсивностью заполняет нашу жизнь, но далеко не каждого награждает судьба борением сильных страстей. Ленка Смирнова. Елена Леонидовна. Она работала в одной лаборатории с Феликсом. Я влюбился в её улыбку, глаза, голос, но, влюбившись, непроизвольно начал создавать некий дополнительный образ, постепенно вытеснивший черты реальной милой девушки с тайными комплексами и незримой зависимостью от матери. Созданный идеал частично совпадал с реальностью. Тем тяжелее оказалось примириться с несопадением. Я познакомился с мамой и Ленкиной сестрой Иркочкой (они были двойняшками), ездил к ним на дачу. Ухаживал классически – с цветами. Но практичная матушка сестёр вырастила без мужа, который погиб на войне, и мечтала совсем о другой «партии». А когда нашла, я немедленно ощутил стремительное отдаление предмета своих мечтаний. Разрыв переживался бурно. Эмоции пережались через край. Но зато я совершил над собой жёсткую, но необходимую психологическую операцию. «Меня отвергли, значит – предали, – сказал я себе. – Нужно начинать всё сначала». Думаю, что нечто подобное переживал и папа в отношении мамы. Годы спустя я заходил в гости к Феликсу и Любе, в их квартиру в Большевикском переулке. Они рассказали: у Ленки сын, но она не очень счастлива в браке, а мама умерла. Я не позволил себе разморозить остывшие эмоции и ни о чём не стал расспрашивать своих друзей. А ещё 10 лет спустя, когда я работал в АПН, вернувшись из первой командировки в Германию, Ленка как-то нашла мой рабочий телефон. Рассеянный склероз сделал её инвалидом. Муж давно её бросил, сын почти не навещает, а живёт она теперь с другом, он тоже инвалид. Сказала, что вспоминает мои стихи и попросила: «Приезжай!» Тот же тихий голос, который когда-то так волновал меня. Хотел отказаться, но ведь это было бы не по-людски, не по-христиански. Приехал. Скромная двухкомнатная квартира, где живут два человека с разными характерами и общей болью. Он держится настороженно, но взгляд добрый. У неё возле кровати на тумбочке тетрадка моих стихов. Хорошо, что я съездил к Ленке. Мы неохотно оглядываемся на прошлое, но иногда это всё-таки нужно делать. Это была наша последняя встреча. После неё у меня осталось чувство вины: словно по моей неосторожности упал и безутешно заплакал чужой ребёнок.

А трудовые подвиги в «ящике» продолжались. И при очередном порыве производственного энтузиазма я придумал, как увеличить количество выпускаемых нами мини-трансформаторов для космических ракет. Сказал об этом начальнику цеха. «Останься после работы», –

сказал он и, внимательно выслушав мои идеи, долго и сосредоточенно молчал, а потом, потечески похлопав меня по плечу, сочувственно произнёс: «Толково. Но, вот, посмотри: у тебя много друзей. Передовики, перевыполняющие план и получающие за это приличную надбавку. А теперь представь, что мы реализуем твоё предложение. Нам увеличат норму выработки, и они перестанут быть передовиками. Заработок упадёт. Ты этого хочешь?». Я понял: системе рационализаторы не нужны. Новые (производственные) и старые (школьные) друзья помогли пережить разочарование.

Отверженные. Дружба – сокровище, которым надо дорожить больше всего, но нет драгоценностей, которые избежали бы подделки. Встречаются и живые имитации. Мне, конечно же, приходилось сталкиваться с людьми недостойными, непорядочными. Когда мы жили на Большой Ордынке, захаживал к нам в начале 50-х Александр Семёнович Вишневский из дома напротив, занимавший комнату в той же коммуналке, что и Борька Никитин, отец которого до войны учился с моим отцом в Политехникуме связи. Они здоровались, но не дружили. Борька же был моим сверстником. И когда нас перевели из мужской школы в женскую, он временно оказался со мной в одном классе, но потом остался на второй год. Борька, знавший о моих литературных упражнениях, и сказал: «Ты бы поговорил с Вишневским. Он, кажется, в этом деле петрит. Сам что-то пописывает». А вскоре и Вишневский, встретив во дворе мою маму (он всегда вежливо здоровался с нею и заговаривал), напросился в гости. По обыкновению, мама приготовила что-то вкусное. Гость нахваливал угощение, потом они играли с папой в шахматы. Папа был отличным шахматистом, участвовал в войсковых чемпионатах и в 1957 году сыграл вничью с чемпионом мира Василием Смысловым. В 86-м этот успех повторил его внук Иван Бовкун, играя в Посольской школе в Бонне с Гарри Каспаровым. Папа сожалел, что меня эта игра не привлекала, хотя всё же обучил элементарным ходам. Это пригодилось, когда я сам стал «играть в шахматы» со своими внуками-близнецами ГриФедами. Гриша обучился шахматным премудростям немного раньше Феди, и взрослые, начиная с дедушки Саша (моего свата Александра Григорьевича Антипенко), наперебой предлагали ему поединки. Во время одного шумного собрания родственников, Федя отозвал меня в тихую комнату и смущённо спросил: «Дедушка, а ты не мог бы со мной сыграть?» Я решил про себя: «Лучший способ заинтересовать ребёнка каким-то умением – это дать ему возможность поверить в свои силы». А потому стал играть с ним в поддавки, но так, чтобы он этого не почувствовал. Вскоре он «загнал» моего короля в угол. Ходить мне было некуда – пат. Я понёс доску показать родственникам и гостям: «Вот, как обыграл меня Федя!» Профессионалы поразились: после моих дилетантских упражнений на доске сложилась классическая ситуация из учебника по шахматам. Поддавки больше не понадобились. Федя быстро наверстал упущенное. А тогда на Ордынке мой отец, радовавшийся каждому новому партнёру, сказал Вишневскому: «Заходите ещё!» И тот зачастил в нашу квартиру. Обычно он появлялся к обеду или к ужину и, пока мама накрывала на стол, развлекал нас чтением своей детективной повести, щеголяя знанием воровской лексики. Он собирался предложить её «Воениздату», где работал папин друг. После третьего чтения я понял, что мне не нравятся ни повесть, ни сам Вишневский, но это был не мой гость, и я молчал. Делиться с ним своими наивными стихотворными опытами я, естественно, не собирался. А потом случайно я услышал, как он говорил про нас гадости: будто бы мама не умеет готовить, а папа – играть в шахматы. Очевидно, зарабатывал дешёвый авторитет у дворовой шпаны, перенимая у неё словечки для своего детектива. Мы играли в казаков-разбойников, я прятался в сарае с самодельной деревянной шпагой. Через щёлочку было видно: во двор вошёл Вишневский и стал общаться с ребятами. «Вчера меня опять подхарили в семейке этого подклоповника», – со смешком рассказывал доморощенный детективщик. Тут я не выдержал, выскочил из сарая, подбежал к нему и закричал: «Вы мерзкий отщепенец, Александр Семёнович! Чтобы вашей ноги больше в нашем доме не было!» А маме я сказал: «Больше не принимай Вишневского. Он – мерзавец!» Вишневский несколько раз звонил. Мама под разными пред-

логами откладывала его визиты. Папа как-то поинтересовался: «Что это Александр Семёнович не заходит?» Мама ответила: «Он плохо обошёлся с Женечкой!» Я закричал на неё, потому что она сказала неправду, был поставлен за это в угол и попросил прощения. А вообще-то, если я и повышал голос на мать, то только в тех случаях, когда она строила догадки о моих друзьях, опасаясь «дурного влияния». После её смерти я стал горько сожалеть даже об этом: гневливость в отношении любящих родителей – тяжкий грех, и моё раздражение было недостойным ответом на мамину любовь. На папу я не повысил голос ни разу. Грех осуждения – второй по тяжести, но по правилам христианской этики, судить может не только Господь, но и родитель. Я, конечно же, огорчал своих родителей, но никогда не слышал от них упреков. Ребёнок, кричавший в детстве на отца или мать, потом сам осудит себя. И сколь омерзительны люди, пытающиеся лестью, враньём или пошлыми догадками внушить чужим детям непочтение к их родителям! Вишневого я навсегда вычеркнул из своей жизни, но таких вычёркиваний, к счастью, было совсем немного.

«Зенит» – полярный круг – экватор. Самым ценным приобретением моей юности был фотоаппарат «Зенит», судьбу которого не смогла бы предвидеть ни одна гадалка. Он, очевидно, до сих пор лежит в глухой тайге, если его не затащило в болото. Летом 1958 года шестеро молодых сотрудников режимного предприятия отправились в байдарочный поход по северной речушке Мудьюге. Все походники пользовались тогда добываемыми разными способами картами-километровками, которые в принципе считались секретными. Но карта не предупредила, что ввиду карстовых явлений капризная речка временами исчезает с лица земли: уходит под почву, теряется в болотах тундры. Поэтому мы не смогли загрузить всю поклажу в две байдарки, а рюкзаков, включая мешки с оболочками и стрингерами, было больше, чем носильщиков. По пружинистому мху относили партию груза километра на полтора, выставляли часового, хотя вёрст на десять кругом не было ни души, и возвращались за следующей. Наш неформальный лидер Валерка Терентьев, однако, не забывал выдавать текущую информацию и на привале, вытащив из планшета карту, сказал: «В километре от нас проходит линия полярного круга». Дозорный отдыхал минут 45 в ожидании друзей, и когда настала моя очередь, я не улёгся на мох, а поспешил к невидимой линии. Мечтал пережить незабываемое впечатление. И пережил. Положив аппарат на землю, стал любоваться крошечным озерком, где плескались утки необычайной расцветки, изредка поглядывая на часы. Взглянув на них в очередной раз, обнаружил, что моё время истекает, и помчался обратно, насколько это позволяла зыбкая почва. «Зенит» остался лежать на полярном круге. Я про него забыл, а вернуться не смог, чтобы не подвести товарищей. Через несколько лет я купил другой фотоаппарат, с которым уехал в Конго. Он исправно служил мне, но однажды... Заместитель начальника проекта Николай Петрович Егорычев взял нас с женой в путешествие. Он часто ездил по соседним городам, разделённым между собой саваннами или джунглями, и его сопровождал кто-нибудь из переводчиков: Юра Никитин или я. На этот раз Егорычев сказал: «Хочешь показать своей супруге девственный африканский лес? Маршрут у нас необычный. Ехать будем целый день, потом заночуем у префекта, а следующим днём вернёмся в Нгулонкила (так назывался посёлок, где конголезцы построили нам каменные дома системы «тропикаль»). Но удобств не обещаю».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.